

Смерть чиновника

А незнакомые думали: человек в футляре. Заводная кукла из чеховских сумерек, персонаж без поступков, личность без судьбы, зато с порядочным трудовым стажем.

В 1879 г., двадцати четырех лет, сдав последний университетский экзамен, тотчас женился (на вдове с двумя детьми, чуть ли не сорокалетней; сентиментальный такой сюжет, провинциальный: помещица и репетитор-студент на летних вакациях; ночной сад, сирени, соловьи, все такое) и с тех пор всю жизнь преподавал древние языки в разных гимназиях. В первое время — лет, скажем, десять, то есть молодость напролет, — до 56 учебных часов в неделю. Однако же успевал писать полезные для коллег статьи в «Журнал министерства народного просвещения» — и был в министерстве замечен.

Тридцати шести лет назначен директором киевской одной вроде как гимназии, не то лицея, — через два года возвращен в столицу: директор 8-й петербургской, а потом долго-долго — Николаевской мужской гимназии в Царском Селе. Под конец — инспектор Санкт-Петербургского учебного округа. Действительный статский советник, между прочим.

Дослужился бы — как знать? — и до тайного, подобно герою «Скудной истории», — ведь и научные заслуги: полного Еврипида потихоньку перевел, шутка ли? — а чиновник был отменный, хотя гуманный, — да не выдержало сердце. Лет с пяти болело — в пятьдесят четыре остановилось. В подвезде Царскосельского вокзала, Витебского теперь.

И это был единственный в бесшумной карьере Иннокентия Федоровича как бы публичный скандал, и даже с оттенком секретного анекдота — трогательного, впрочем. От застенчивости, собственно говоря, умер человек.

Он в тот день, 30 ноября, обедал у одной петербургской приятельницы, а от нее отправился на заседание в Обществе классической филологии — читать доклад о какой-то «Таврической жрице у Еврипида, Руччелли и Гёте». А день прошел тяжело: с поезда — на лекцию, после — в округ, оттуда — в министерство, и везде неприятные разговоры. Даже не исключено, что ему сказали про неуспех прошения на счет усиленной пенсии. В общем, за обедом стало ему нехорошо — а сердечные пилюли остались дома, — и он даже попросил позволения прилечь. Но тут возникла еще проблема, притом неразрешимая, поскольку — деликатно формулирует сын покойного — «в доме, где он обедал, мужчин не было». И.Ф. весело встал, успокоил эту самую приятельницу, распрощался, запахнул шубу, неторопливо сошел по лестнице, кликнул извозчика — и пошел, с болью глотая черный ледяной воздух, на Царскосельский, благо недалеко, в нескольких минутах... До вокзала, как мы знаем, доехал, однако до нужной комнаты не добежал, а попал совсем в другую — в полицейский морг. И красный портфельчик с докладом про таврическую жрицу отчасти помог при опознании тела.

Последним поездом, в последнем вагоне, в гробу вернулся Иннокентий Анненский домой.

Дом с мезонином

Багровый от жирной пищи, прыщавый от незнакомства с мылом, спрыснутый веницейскими духами, наспех припудренный, XVIII век пошалил с безгласной чухонской природой — и вот разряженным карликом чинно гуляет городок под тухлявыми липами.

Мертворожденных время не убивает. Оно сочится сквозь поры и разжижает плоть. Сходили на нет родословные, выползал из-под позолоты тусклый цинк, зарастали кустарником десятилетия. Алебастровые аллегории перевоплощались в дощатые, изваяния — в манекены, челядь — в чины.

Рушились колонны — и блистали свежей краской заборы. Заглохли каскады — но шумели ватерклозеты.

Вспухало пространство пустырями, щелями, норами, укромными беседками, шуршала осыпающаяся почва, зацветала вода — и вот мы уже в пункте,

Русская мысль. - Париж. - 2000. - 19 окт. - с. 12.

Самуил Лурье

РУСАЛКА В СЮРТУКЕ

90 лет назад посмертно вышла книга Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец»



Иннокентий Анненский.

населенном гвардейцами, жандармами, полицейскими, путейцами, педагогами, гимназистами, гимназистками, а также мокрыми безносими статуями.

Сверх этого вся окрестность кишит отражениями, копиями, подобиями. Они глядят из камня, дерева и воды на людей в мундирах, на детей в мундирах, на собак в мундирах...

О, Царское Село, приют дрессированных дриад и начитанных подростков! Царское Село, кукольный, табачный город с душным запахом нечистых желаний и состриженных листьев над преющими прудами... Палисадник российской словесности, балованный мопс на чугунном поводке, фальшивый астероид в кометном кольце Петербурга, — о, Царское Село, город образованных домовладельцев!

Блок жил у самой Маркизовой лужи, Анненский — на дне пруда.

(То есть вообще-то в квартире при гимназии, потом снимал у г-на Эбермана, под конец — у г-на Панпушко, на Захарьевской.)

...Он висит в глубине, отдаляющей звуки, преломляющей свет, в толще прозрачных отражений, среди игрушечных обломков и маленьких

скользких чудовищ. Ниже травы, но высоко над уровнем моря — ни волна, ни течение, ни даже невод не бросят его на берег.

...Из тяжелых стеклянных потемок Нет пути никому никуда.

А на самом-то деле — просторная темноватая квартира в доме с мезонином. Пахнет табаком, старыми книгами, осенними листьями, разлетевшимися по подоконнику. Любое слово и каждый шаг беззвучным эхом отдаются в дельфиньем теле рояля. Ночью слышней одышка стенных часов и всхлипы умывальника. Днем их перебивает улица — неразборчивая перебранка железа с камнем.

Тоска Анненского — горбатенький близнец музы Блока — мечтательным подростком съезжилась под роялем, под тяжким, рокошущим, механическим чревом. По воскресеньям карточные партнеры хозяина только что не спотыкаются об нее.

А хозяин такой беломясый, такой мягкоусый, безукоризненный такой джентльмен как бы в корсете: шея не гнется, — и холодные руки, холодные глаза. Опытный педагог, приятный сослуживец, исправный супруг, жалостливый любовник... Всем, всему чужой, верный только рисунку обоев над кроватью да крахмалу закушенной наволочки.

Он настаивал стихи на головной боли, разводил бессонницей.

Едва пчелиное гуденье замолчало, Уж ноющий комар приблизился,

звоня...

Каких обманов ты, о сердце,

не прощало

Тревожной пустоте оконченного

дня?

Литературная табель о рангах

Дело в том, что Иннокентий Анненский был поэт — да-да, «с притязательно-книжным о», как сам же и шутил об этом титуле. Почти совершенно без-

вестный, он и сам не знал, какая цена сотне-другой четвертушек исписанной бумаги, наполнявших полированную шкатулку из кипарисового дерева, в которой под замком хранилась его настоящая жизнь. В 1904 г. вышла бледная книжница под псевдонимом Ник. Т-о — ее и похвалили модные Брюсов и Блок слегка, именно как ничью и ничтожную (позже Блок оттуда украл кое-что). В 1909 г. несколько молодых людей вознамерились построить собственную литературную крепость (называлась — журнал «Аполлон»; очередная утопия: будем печатать все самое лучшее и только самое лучшее, сверхновая классика и проч.; до самого Октября, однако, продержались) — и пригласили Анненского как бы в почетные сеншалы как филолога с именем и не вовсе чуждого современности; маститых они не любили, а мастер был нужен.

Как он воспарил! Как расцвел! Вообразил, что настало его время — долой должность и псевдоним — теперь он выскажется весь. Так и сновал между Царским и Петербургом (а прежде наезжал в Город лишь по понедельникам) и к себе зазывал внезапных друзей: после чаепития читал им из кипарисового ларца, бережно роняя на пол один листок за другим...

А они — Волошин и Маковский — переглядывались: надо же, какой молчаливый старик, и даже не очень смешон, стоя в бумажном сугробе. И, как всегда, прав юный Гумилев: не тривиальные стихи, кто бы мог подумать... И не торопились их печатать: из первого номера, октябрьского, передвинули во второй, из второго — в третий... Тут Анненский умер.

И в третьем номере, в траурных виньетках, само собой, оказался гениальным, таинственным лириком, непонятым пророком символизма.

Через полгода в Москве издали «Кипарисовый ларец», и культурная молодежь «была поражена и читала ее, забыв все на свете», как написала — впрочем, только о себе — Анна Ахматова.

Ну а потом известно что случилось. Анненский остался любимым поэтом лучших русских поэтов XX века — только и всего. Лишь одно восьмистишие числится в золотом запасе публики:

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...

Не потому, чтоб я ее любил,

А потому, что я томлюсь

с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Конечно, и этого хватит для бессмертной так называемой славы: бывают такие вечные строчки:

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной...

Или:
Легкой жизни я просил у Бога —
Легкой смерти надо бы просить...

Даже и неважно, что это Тхоржевский написал, а то — Батюшков, а про молнию, упавшую в ручей, — Случевский, а вот про Звезду, с которой не надо света, — наш Иннокентий Федорович.

Но все-таки: в шкатулке находилось оригинальных пьес 233 или около того. Из них штук сорок превосходных, в том числе десять или одиннадцать — а то и дюжина — таких, что прожить без них было бы обидно. А как же остальные? Забыть?

В 1906 г. один альманах вдруг попросил у Анненского стихов, и тот прислал — новое, любимое, а совсем не лучшее:

Есть слова — их дыханье,
что цвет,
Так же нежно и бело-тревожно,
Но меж них ни печальнее нет,
Ни нежнее тебя, невозможно...

Издатель, естественно, дал задний ход: нет ли, дескать, чего полегче; я, дескать, и сам в душе модернист, но читатели такой народ...

Анненский в ответ: «Попробовал я пересмотреть ларец и, кажется, кроме "Невозможно" в разных вариациях, там ничего и нет. Я везде я, и если оно не интересно, то где же мне взять другого?»

Санкт-Петербург

Окончание следует.